

# Константин Паустовский

I

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ  
ОЖИДАНИЙ



Повесть о жизни

Константин Паустовский

**Бросок на юг**

## **Паустовский К. Г.**

Бросок на юг / К. Г. Паустовский — — (Повесть о жизни)

В первый том произведений Константина Георгиевича Паустовского вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни». «Бросок на юг» приводит К. Паустовского на «трехпогибельный Кавказ». Патриархальная Абхазия, Батум эпохи «порто-франко», фантастический Тифлис художников и поэтов... Повести сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшим прообразами героев его произведений. Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца.

## Содержание

ВОЙНОЙ ВЗВОЛНОВАННЫЙ КАВКАЗ. Предисловие Вадима Паустовского	5
Короткое объяснение	8
Благодарность читателю	9
Табачная республика	11
Двойкий смысл слова «легенда»	18
Заколоченный дом	22
Мальпост	26
Средство от малярии	33
Озеро Амтхел-Азанда	37
В плоском порту	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Константин Паустовский

## Бросок на юг

### ВОЙНОЙ ВЗВОЛНОВАННЫЙ КАВКАЗ. Предисловие Вадима Паустовского

Первая публикация повести – в № 10 журнала «Октябрь» за 1960 год. Отдельной книгой вышла в издательстве «Советский писатель» в 1961 году. С тех пор, на протяжении уже почти сорока лет, книга отдельно не переиздавалась ни разу. Оформителем книги был художник Кирилл Зданевич. И не случайно. О нем читатель узнает из текста самой книги, и, я думаю, у нас будет еще повод поговорить о его судьбе и взаимоотношениях с отцом в разные периоды их жизни.

В «Броске на юг» – пятой части автобиографического цикла «Повесть о жизни» – отражен короткий, но насыщенный событиями и встречами отрезок жизни автора, охватывающий 1922 – 1923 годы. Действие в основном протекает на черноморских берегах Кавказа: Сухуми, Батуми, Тбилиси, переезды и поездки по Закавказью. Тогда эти города назывались по-иному – Сухум-Кале, Батум, Тифлис.

Повесть написана зрелым автором, на пике его творчества. Черновые рукописи занимают четыре общие тетради. Написана за десять месяцев напряженной работы, преимущественно она происходила в Ялте, в доме творчества. На обложке рукописи проставлена дата написания: «сентябрь 1959, Ялта – июнь 1960, Таруса». Само название книги менялось Паустовским несколько раз – можно привести такие, как «Войной взволнованный Кавказ», «Трехпогибелый Кавказ», «Бросок в страну» и даже «Дорога народов», пока автор не остановился на наиболее правильном с точки зрения канвы «Повести о жизни»: «Бросок на юг».

Если говорить вообще о названиях частей автобиографической повести К. Паустовского и их вариантах, нельзя не отметить их неуывдаемой сущности. До сих пор мы как бы живем во «времени больших ожиданий», Кавказ все так же взволнован войной, как и прежде, и «На медленном огне» – первое название «Книги странствий» заключительной повести, части цикла, – сегодня не теряет своей актуальности в нашей жизни.

Заголовки отдельных глав повести тоже менялись многократно, и это говорит о взыскательности писателя. Грузинская исследовательница Ия Адеишвили из Кутаиси несколько месяцев провела в Центральном государственном архиве литературы и искусства за работой над рукописями «Броска на юг». Приведу несколько ее наблюдений.

«В первой тетради – черновики от главы „Несколько авторских замечаний“ до „Берегового приюта“... Во второй – главы от „Военнопленного Ульяновского“ до „Над слоем льда“ (в печати – „Намек на зиму“). Эти тетради содержат 188 листов...»

Третья тетрадь начинается с описания квартиры Зданевичей и включает главы «Человек из народа» (получившую в конце концов название «Клеенки Пиросмани»), «Каждому свое», «Еще одна весна» и «Библейская пыль»; последнее заглавие перечеркнуто, и рукой автора вписано новое название – «Мгла тысячелетий». В конце тетради, на обложке, имелись некоторые замечания писателя о том, что следовало заменить имена героев Заремба, Лобия и т. д.

Последняя тетрадь открывается главой «Все это выдумки»... В поисках заглавий отдельных глав-рассказов К. Паустовский, как правило, пробовал несколько вариантов и лишь после тщательных раздумий оставлял наиболее удачное... 13-я глава имела два заглавия – «Собеседник сердца, жизни» и «Веселый попутчик». Первое заглавие писатель перечеркнул, 19-я и 21-я главы-рассказы имели по три заглавия. Например, «Новый 1923-й год», «С Новым годом!»

и «Находчивый гражданин Лобия». Все эти заглавия оказались неудачными, и К. Паустовский заменил их иным – «Новогодняя ночь». Из трех заглавий 21-й главы – «Под слоем льда», «Тончайший лед», «Намек на зиму» – осталось последнее».

«Кавказский» период жизни К. Паустовского постоянно был насыщен литературным трудом. Распрощавшись с Одессой, К. Паустовский, ответственный секретарь «Моряка», не порвал с редакцией профессиональных, деловых связей. Он получил мандат собственного корреспондента газеты, и его очерки, зарисовки, репортажи регулярно появлялись на страницах этого издания вплоть до 1927 года, даже когда он работал в московских газетах и журналах. Кроме того, Паустовский имел от редакции «Моряка» ряд дополнительных поручений, в частности ему предлагалось наладить выход морских газет в портовых городах Черноморского побережья.

Эту задачу К. Паустовский реализовал. В Батуми стала выходить газета «Маяк», к участию в которой он привлек местные литературные силы, да и сам активно печатался.

Издание на юге России второй газеты для моряков вполне отвечало внутреннему устремлению самого Паустовского, поэтому он так активно принялся за дело. Кроме того, он сотрудничает в батумской газете «Трудовой Батум», а приехав в Тбилиси, пытается за короткий срок улучшить выпуски газеты «Гудок Закавказья».

Помимо утомительной газетной работы, К. Паустовский настойчиво готовит себя к писательству. Рукопись романа «Мертвая зыбь» (в последующем «Романтики») дополняется новыми страницами, на новом материале рождаются первые его рассказы: «Лихорадка», «Этикетки для колониальных товаров», «Концерт в Вардэ», «Соус керри»... По возвращении в Москву эти рассказы лягут в основу первых книг Паустовского.

Многие возникшие в 1922—1923 годы знакомства, симпатии и антипатии отца наложили отпечаток на его дальнейшую жизнь и творчество.

Мне хотелось бы сейчас остановиться, хотя бы вкратце, на одном из таких знакомств.

В Тбилиси произошла романтическая встреча моего отца с молодой художницей Валерией. Через десять лет родители расстанутся, а второй женой отца станет эта женщина. В «Броске на юг» она фигурирует под именем Мария. Подробнее об этих драматических переплетениях судеб я расскажу позже, в конце книги.

Отдельного разговора заслуживает и тема Петра Петровича Шмидта в творчестве Паустовского. К этой легендарной личности, замусоренной советскими штампами, Паустовского влекло на протяжении всей его жизни.

Еще в сентябре 1917 года в еженедельнике «Народный вестник» появился небольшой очерк двадцатипятилетнего журналиста «Лейтенант Шмидт». Очерк состоял из трех эскизов: впечатления от острова Березань, места казни Шмидта, описания прохладного летнего дня в затерянном уезде Орловской губернии, когда автора «словно острой бритвой полоснуло по сердцу», так как в альбоме с открытками он увидел фотографию Шмидта и рядом «его Клятву». Он пишет: «...Гудели под ветром сосновые леса. Хотелось думать о нем, о человеке, создавшем из своей жизни одну из самых сильных и печальных легенд». И, наконец, третий эскиз – Севастополь 1916 года. «Тогда я понял, что Шмидт – это человек, рожденный и воспитанный морем. Море приучает глаза к широким горизонтам и приучает ум к смелым и свободным построениям...»

Так все эскизы объединены образом человека, моряка, уверенного, как упоминает отец, что он принимает смерть у пограничного столба «между рабской и свободной Россией». И который «перед смертью так трогательно и просто вспомнил Христа».

В этом раннем очерке угадываются черты и зрелого Паустовского.

Вторым обращением к Шмидту стал рассказ «Три страницы». Он был опубликован в журнале «Рупор» в конце 1925 года. Наиболее объемно фигура Шмидта выписана Паустов-

ским в повести «Черное море» (1936 год), в конце тридцатых годов по заказу Театра имени Вахтангова работает над пьесой о Шмидте.

К разговору об этом я еще вернусь...

*Вадим Паустовский*

## Короткое объяснение

Эта книга – пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг – на Кавказ и в Закавказье.

Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.

Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.

Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.

По довольно разумным законам драматургии пьесы обычно делятся на несколько точных частей.

Вначале – экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем – развитие действия, после чего наступает кульминация – высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.

В кино типичнейший пример кульминации – это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов.

К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрёпанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.

Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.

Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию; вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.

Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.

*Конст. Паустовский*



## Благодарность читателю

Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А. И. Малову, живущему в Севастополе.

Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний.

Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.

Я приведу без всякого выбора всего три замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.

Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия.

В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки».

В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий (нелюбимое моряками) имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узости и другие навигационные опасности не славословят».

И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».

Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы Советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией.

Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход – такой же, как и старая посуда «Димитрий» (эта последняя так называемая морская «коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий»).

Эти мои слова вызвали ответ капитана:

«Вы слишком одряхляете „Пестеля“. Он был иным, чем „Димитрий“. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек „Пестель“ у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.

«Пестель» погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев».

Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.

И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану, за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе.

Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо, и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь.

В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она

довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупичками соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок.

Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады.

В Севастополе можно часами сидеть на Историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда неожиданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомним, что рядом за Корабельной стороной, за Братским кладбищем брызжет волной Черное море.

Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.

Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бранные пожитки собирать». И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немymi свидетелями жизни. И никто от них не требует обязательного выражения своих чувств.

Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они – неподвижные – видят мир спокойнее и лучше, чем мы.

Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда «студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он».

Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодотворным напряжением.

Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе.

Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня.

Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону Южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья.

Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной.

Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко. Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.

Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.

## Табачная республика

Когда «Пестель» стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост<sup>1</sup>. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам протянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.

Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.

«Пестель» снялся и полным ходом начал уходить в море, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.

Нам удалось уйти от норд-оста.

Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.

Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.

Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.

Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.

Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться, и, должно быть, от этого окончательно проснулся.

Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира, чертов банабак! Майна помалу!»

---

<sup>1</sup> Во время плавания с командировочным заданием и удостоверением одесской газеты «Моряк» из голодной Одессы в Сухум отец постоянно посылал в редакцию свои корреспонденции. Одна из них малоизвестна. Она ни разу не публиковалась в книгах и не перепечатывалась в журналах и газетах, в «Моряке» опубликована 7 марта за подписью К. П-ский с весомой авторитетной пометкой: «От нашего специального корреспондента из Новороссийска». Статья заслуживает внимания, в ней еще дышит одесский «ильфо-пе-тровский» колорит. Во всяком случае при описании концертной бригады невольно вспоминается небезызвестный автопробег с «Антилопой Гну». Мое знакомство с подшивкой краевой газеты Черного, Азовского и Каспийского морей в Одесской научной библиотеке, как я уже говорил, не прошло бесследно. *ПАРОХОДНЫЕ КОНЦЕРТЫ* (Фрагменты очерка «Серебряные горы») *Весь день стояли в Новороссийске – этой российской, измученной вечными норд-остами столице. Пассажиры бегут на базар – покупать дешевых здесь копченых «рыбцов» и галеты. У деревянной пристани стоит американский миноносец – «236», но к нему не подпускают на пушечный выстрел. Извозчик торгуется с вылоцненным американским офицером – просит в город 300 тысяч. Американец недоумевает и дает 200. Собирается толпа. Вечером срывается норд-ост и тяжело гремит над городом, сдувая с палубы последних пассажиров в переполненную кают-компанию. Здесь идет пароходный концерт. Почти на каждом пароходе вымо-жете увидеть все одну и ту же компанию артистов, назначение которых сводится к устройству на пароходах, в тесноте, среди больных, давки и детского плача – концертов. Эта труппа – столь же необходимая (по-видимому) и легальная организация на пароходе, как и машинная команда, капитан, его помощники, матросы. Их возят бесплатно, они занимают каюты, дружат с наглой буфетной прислугой, напиваются, бегают в портах по «срочным делам» на базары цуцраивают «концерты в пользу голодающих» – смесь из скабрезных куплетов, еврейских анекдотов и румынского оркестра из какого-то сухумского духана. Голодающим, по словам существующей на пароходе специальной комиссии, концерты эти дают крайне мало, почти ничего. Простой сбор дал бы больше. Начинается концерт и стихают многочисленные картежники, которые режутся в карты с утра до поздней ночи. В каюте шумно. Стоит веселый гогот. – Даешь «советскую свадьбу»! – кричит группа военмор. – Даешь «Абрашу»! Жирный, невероятной толщины задыхающийся артист («жертва войны, революции и Поволжья» – по словам конферансье) поет о луне, о парочках и растущих у кого-то рогах. – Даешь «Маши»! – входят в азарт военморы. – Валяй, Вася, по-нашему, по-одесски. Но совершенно неожиданно оркестр (скрипка, виолончель и контрабас) фальшиво играет «Интернационал» и концерт кончается. А норд-ост сотрясает палубу и ночь вся дрожит в ледяном холоде звездных лучей, в ясности зимней ночи.*

Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.

На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листе незнакомые цветы.

– «Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»

Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хриловатый голос второго помощника капитана:

– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолом-Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.

Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.

С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.

Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.

Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.

Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевиной, к земле, розовой от кораллового песка.

Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.

Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти.

В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.

Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.

С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.

Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отделении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.

Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.

Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать? «Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их называли «магунами») были пришвартованы

к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.

Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.

– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.

Смотритель порта – человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями – решительно и грубо отказался пустить меня на берег.

– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.

При чем здесь был кредит, я не понял.

Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался.

– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.

– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.

– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.

Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубаш. Рукопись своей первой повести, «Романтики», я оставил в Одессе.

В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.

Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «сам-сун».

От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взяли за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.

Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.

Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.

Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южно-американской республики, описанные веселым пером О'Генри в его книге «Короли и капуста».

Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.

Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между северными и южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки-канталупы, я не был бы особенно поражен.

Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю<sup>2</sup>, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владельца Абхазии светлейшего князя Ширвашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо нить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.

Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.

Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: выючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без усталости сползали и дымили по обрывам лавины.

С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.

Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».

---

<sup>2</sup> После расшифровки дневников и прочтения писем отца, относящихся к его пребыванию в Сухум-Кале, стало ясно, что первые дни своего пребывания в Сухуме К. Г. Паустовский провел в доме Александра Исааковича Германа-Евтушенко на горе Чернявского. С Герман-Евтушенко мои родители, как оказалось, познакомились в Одессе и его заботами, как секретаря Союзов кооперативов Абхазии, были приглашены в Сухум. Нынешний директор Московского музея-центра К. Г. Паустовского несколько десятков лет назад выяснил в сухумских архивах истинную хозяйку дома № 47 в Горийском переулке. Ею оказалась вдова Каролина Георгиевна Герман, которая почилла в 1923 году в возрасте 65 лет. Об этом доме также сохранился репортаж отца из Сухум-Кале для газеты «Моряк» (1922 г., 5 мая). Один-единственный раз он был перепечатан в журнале «Новый мир» в посмертной подборке очерков К. Паустовского «Из разных лет», подготовленной Львом Абелевичем Левицким. Для читателей «Броска на юг» он, мне кажется, представит несомненный интерес. *ИЗ ГОРНОГО ДОМА (Фрагменты) От нашего специального корреспондента В белом горном доме с низкими потолками – тонкая тишина. Си-нимльдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами прятая мимоза, и воспаленное солнце ложится в тусклое, задымленное море. Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дрыхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев. Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошаадьми в одну подвижную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висящие на всех заборах от дурного глаза, и тут же – ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, плакаты, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ассиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на реке Бзыби, взятые Стиссенном и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лополухих пушистых ишачков. Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли. Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации – все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное. Но все чаще в лешивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное целканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофейен замкнутые «башилычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор. Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с огулой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр и молодое вино шумирают. Не так давно умер-ло несколько человек, высадившихся с пришедшего из России парохода. Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а выманивают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось, – домашний скарб, чуть ли не детские платьица. Экспедиция керченских моряков привезла две швейных машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеба за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахара. Эти ходки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно. И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят – «там», и сразу все как-то замолкает. Там – в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.*

Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.

А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.

Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской «Дуэли», не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.

Для меня все в Абхазии было тогда чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ.

Огромные горные вершины – их имен я еще не знал – отчётливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.

Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно движутся с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.

Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя: на дома, на камни под ногами, – тогда горы вдруг останавливались.

Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.

У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.

По словам старожил, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.

Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.

Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок.

На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.

В первый раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек – веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.

В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.

Растительность тоже была загадочной – и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.

Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.

За домом мадемуазель Жалю – последним домом в городе на горе Чернявского – стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.

Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели – тоже как маленькие злые змейки.

И абхазцы казались загадочными. Большею частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.

Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.

Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.

Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали, подбоченясь, мужчины – мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких чересках.

Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом по тому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.

Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.

Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее: должно быть, так было легче тащить непосильную ношу.

Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие и нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина – совсем не старуха. Старухой ее сделала выучная жизнь.

Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости.

Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным, на первый взгляд, было существование в Сухуме свитского генерал-адъютанта, бывшего феодального владельца Абхазии и, как говорили, морганатического мужа старой государыни Марии Федоровны князя Ширвашидзе.

Его не трогали, – должно быть, оттого, что старый этот князь давно спился.

Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань – кукурузу, табак, козий сыр и алычу.

В день доставки дани Сухум содрогался от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят.

То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей – лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза.

Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон.

Генриетта Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Ширвашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда аробщики напьются в духане «Завтрак на ходу» молодого вина маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно.

В год моего приезда это была последняя дань. Ширвашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы.

Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите».



То был старик с пунцовым сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкеске с газырями, без погон, но с аксельбантами и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.

## Двойкий смысл слова «легенда»

У слова «легенда» двойкий смысл.

Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдонародное), или объяснение разных условных знаков на географической карте.

С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.

Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.

Вообще же, если отбросить этот недостаток, то путеводители – увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению.

Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.

Так вот... Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом – в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия – я не настаиваю на этом сравнении, – и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.

Эта была захватывающая и вместе с тем трудная игра – путешествия, по путеводителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного.

Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.

Легенды (фольклорные) давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов.

В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизилowymi палками-рогатками, где выжжена надпись «Память о Сочи» или «Привет из Симеиза», в пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.

Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.

Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть «по плану», ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.

Я – за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает.

Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скудными на слова объяснениями – «легендами». Вернее, я возвращаюсь к «легенде» Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.

Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.

Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.

Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.

Пока «Пестель» не отвалил из Сухума в Потти, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума.

Так я добрал до горы Чернявского, а на ней – до последнего, уединенного дома Генриетты Жалю.

Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.

Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и слишком длинной для него серой черкеске.

Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.

Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии – Абсоюзе – и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.

Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.

Но вернемся к топографии.

Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.

Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.

По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.

Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.

За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.

Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения – выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма, вижу весь этот взволнованный войной и «трехпогибельный Кавказ».

Вижу «серебряный венец» неприступных гор, «престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томи-

тельной любовью и тоской. А через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание:

В томленье твоём исступленном  
Тоска небывалой весны  
Горит мне лучом отдаленным  
И тянется песней зурны...

Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.

Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть... Может быть, здесь похоронен Одоевский? Или это была могила неизвестного стрелка? Кто мог это знать?

Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклеивали и уносили птицы), сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.

Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч.

Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.

Рева, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.

После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.

Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.

Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестящим, как только что вынутое из воды, – листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.

После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы – безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задохнуться в полную силу, без четвертей.

Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.

Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.

Слишком велик был разрыв между голодным и обледенным северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.

Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.

Все здесь казалось странным.

Когда князь Ширвашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии – создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.

Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.

Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «требизонд». В чистом виде «требизонд» курить было нельзя: он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.

На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.

Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровавая месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев.

Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд Советов жители Самурзакани – самого непокорного края Абхазии – выбрали наиболее достойных представителей – тех, кто мог незаметно свести самого горячего коня. В этом старики самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях.

В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад.

Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум.

Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него эту книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления.

Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии – и французская и немецкая – и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край.

В такие минуты он казался мне особенно чуждым – лакированным и одновременно тоскливым.

С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб.

Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен.

Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе: двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.

## Заколоченный дом

Вдоль сухумской набережной тянулись тогда темноватые и низкие духаны с удивительными названиями: «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик».

В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление: «Кредит никому!» Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо: «Кредит портит отношения».

В окне парикмахерской тоже была своя вывеска:

«В кредит не освежаем».

Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях: к железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь, в горячем соку лука, лопнувших помидор, в собственном жиру и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле.

Объявления о кредите были только живописной подробностью сухумской жизни. На самом деле во всех духанах посетители и пили и ели в кредит еще со времен царицы Тамары. Попытка расплатиться тут же вызывала у духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум.

Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков.

Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венизелоса, то католикоса Армении, в зависимости от национальности чистильщика.

Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было.

По утрам сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки: «По улицам ходила большая крокодила! Она совсем голодная была». Старики только укоризненно качали головами.

Среди стариков был древний курд, своего рода патриарх чистильщиков. Говорили, что он уже тридцать лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки.

Все относились к этому курду с большим уважением. Даже капитан «Пестеля» здоровался с ним за руку.

И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом – тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны.

Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуме враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина – сосед Генриетты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию.

Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, разыскали даже в Америке и там застрелили.

Семья, враждовавшая с соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цебельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла.

По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться.

«Проклятые» дома постепенно разрушались от старости. Тогда их сносили.

После рассказа Генриетты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты.

На чердаке во множестве жили (или, вернее, спали вниз головой) летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день, и ночь жуки-древоточцы прилежно грызли деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть.

Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком.

– Нельзя печатать, – сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. – Понимаешь, кацо, невозможно так неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга, кацо, – и вдруг запрещение! Ты мне не веришь, кацо, но клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я, как редактор, не могу этого допустить.

Ничего не добившись от редактора, я ушел. Я оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб и тер синим карандашом за ухом.

За окнами шевелились от ветра кусты лавров.

Я пошел домой. Шел я всегда медленно и глубоко дышал, – никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи.

На повороте к своему дому я остановился.

Остановился я оттого, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы.

Я поднял глаза.

Заколоченный дом был открыт, все доски с окон и дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня ламп. Кто-то, очевидно приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом.

Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и, задыхаясь, сказала:

– Скорей! Плю вит! Плю вит! Пожалуйста!

Она дрожала, и голос у нее срывался.

– Что случилось? – спросил я испуганно.

– Скорей! – громким шепотом повторила она, покачнувшись и схватившись за забор. – Господи, какое несчастье! Бегите скорей, я вас умоляю!

– Куда? – спросил я, совершенно сбитый с толку.

– Он вернулся из Турции, – громко сказала Генриетта Францевна. И мне стало страшно, оттого что она дрожала все сильнее. Я подумал, что у нее начинается истерический припадок. – Он вернулся сегодня днем из Турции, – ясно и громко повторила она. – Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чачба. Господи, какое несчастье!

Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского.

Во дворе милиции на низеньком столе при свете фонаря «летучая мышь» три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные поджарые лошади, привязанные к пальмам.

Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий Чачба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского.

Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшемуся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седла и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью.

Я бросился бегом за милиционерами. Но на полпути к горе Чернявского они так же бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву.

Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили.

На террасе около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку.

Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся – такой исступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей.

Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца. И ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития.

Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали.

Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезла (говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону), все, наконец, выяснилось.

Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый курд – чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу.

Чачба почистил у курда сапоги. От радости, что спустя двадцать с лишним лет он вернулся на родину, Чачба без умолку говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно.

Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам. Но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз.

Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов-лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу.

То было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали, как старые орлы, старцы в обмотках и солдатских бутсах, и вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным головокружительным взглядом.

Курд дождался такого красавца и что-то шепнул ему.

– Хорошо, батоно! – ответил ему вполголоса красавец. – Ты получишь завтра свои сто лир.



Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах выскочил на улицу.

Через десять минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла, в аул Цебельду, чтобы привезти обитателям одного из цебельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотмщенного врага Чачбы.

Тотчас два всадника помчались из Цебельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского.

Горяча коней и держа наготове обрезы, они вызвали на террасу Чачбу. Он вышел безоружный, протянул обе руки прошлым врагам и так и упал, убитый наповал, с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками.

Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Сванетию, а туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды.

Через несколько дней кто-то поджег проклятый дом. Случилось это утром, а к полудню дом сгорел дотла. Ветра не было. Весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре эта гарь сменилась обычным крепким запахом азалий,

## Мальпост

Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временного разрыва.

От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые «мальпосты». Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.

До войны по кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.

Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря, колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше – «имперiale».

Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.

Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства – два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле телеграфной связи.

Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях.

Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние. От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки не налезали горбом на голову.

Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.

Я, например, мечтал, чтобы на пяточки, сбереженные из родительских выдач на завтрак, купить билет на дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через болотные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.

Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.

Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.

Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям,

На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого мыса.

Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабея разрушала все преграды.

Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.

Кроме курносого, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловеющий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: «Уй-мэ!» – и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.

Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.

Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда – единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.

Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.

Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.

Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу.

Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад: так медленно и неохотно они переставляли ноги.

При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн-Рида:

– «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией».

А возница – старый мингрел – только причмокивал от восхищения губами:

– Ай, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!

Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.

Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.

Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты – смуглый, тонкий и томный, как баядерка.

Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкесской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала, у него на боку висел тяжелый маузер.

Гнедой конь, екая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.

Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, иступленно смотревшие в одну точку, как у слепого.

– Инал-Ипа! – вполголоса сказал возчик. – Большой начальник! Комиссар!

– Чего комиссар? – спросил Бабель.

– Чрезвычайна комиссия, – таинственно подмигивая нам, проговорил возница. – Комиссия! Чрезвычайна!

– Уй-мэ! – с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках.

Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:

– Видали мы и не таких фазанов...

Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном. И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось, прямо в небо рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.

Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задергал вожжами и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе.

– Уй-мэ! – закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.

Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.

– Похоже, что пальба, – уныло определил человек в гимнастерке. – Надо бы лечь за камень. Но он не двинулся с места.

Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.

– Вы чего? – спросил я.

– Готовая глава, – ответил он и закашлялся, – из романа Немировича-Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа...

Но Бабель не успел досказать, из какого второго романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как пять минут назад.

Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером, как-то боком, как бы оглядываясь назад,

Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.

Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.

– Похоже, что в Эшерах восстание, – заметил человек в гимнастерке. – Горцам к этому не привыкать.

Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше, – ехать ли через Эшрры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.

Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.

– Уй-мэ! – гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.

Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.

За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас, так они были возбуждены.

В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.

Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.

Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинках над впалым животом натекла лужица крови.

Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и злое – должно быть, проклятие убийце.

Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.

Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.

Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.

Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом – дубом или вязом.

В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло.

Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.

Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.

Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами – князьями Эмухвари.

Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.

Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.

Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.

За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.

День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель.

Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.

В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.

В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец-келарь – рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.

Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.

– Вас, как людей образованных, – сказал отец-келарь, посмотрев наши удостоверения, – прошу держаться в рамках. Здесь в соседнем номере помещается госпожа Нелидова<sup>3</sup>. Больше в

---

<sup>3</sup> В комментариях к «Времени больших ожиданий» я уже выражал свое удивление по поводу истинности службы отца в одесском Опродкомгубе. До тех пор, пока исследователи творчества Паустовского не положили передо мной блеклые фотокопии документов с печатями, я полагал, что это учреждение с трудновыводимой аббревиатурой – чистые выдумки отца. Подобных забавных небылиц мы наслушались от него вдоволь. К этому ряду выдуманного я относил и некоторые фамилии персонажей его книг. В первую очередь ставил под сомнение главную героиню романа «Блистающие облака» Нелидову и архитектора Гофмана из рассказа «Московское лето». Кстати говоря, Нелидова встречается и в «Броске на юг». В этой повести она

гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, но монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся – в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокия.

– Да-а, – сказал Бабель, – Видно, кремень-старушка. Отец-келарь усмехнулся.

– Что вы, граждане! – сказал он укоризненно. – Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама! Но предупреждаю: строга.

Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:

– У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой – вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.

Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.

Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда, даже на злополучном мальпосте.

В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и, наконец, выяснили, что человеку иногда не хватает безопасности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.

Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый сверкающий поток, – все прекрасное: хохот и раздумье, хлесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни – и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.

Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином, маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.

В общем, я сходил к отцу-келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.

Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку.

---

фигурирует в качестве госпожи, прибывшей в Новоафонский монастырь «отдохнуть от мирского безобразия и скверны». Какое же было мое удивление, когда, разбирая архив отца, наткнулся на письмо к нему от Зинаиды Леонтьевны Нелидовой из Сухума. Жизнь оказалась значительно богаче и интереснее предполагаемой: моя мама вместе с Зинаидой Леонтьевной поставила в Сухуме детскую оперу «Красная Шапочка» на музыку Цезаря Кюи. Костюмы и художественная часть постановки были возложены на мою маму, а балетную постановку осуществила Нелидова. К счастью, в семейном архиве сохранилась афиша премьеры 2-го гостеатра, спектакль состоялся в пятницу 21 июля 1922 года в исполнении детей, а рецензию на премьеру написал отец, но, увы, газета с рецензией пока не найдена. Зинаида Леонтьевна хорошо знала немецкий, французский и английский языки, сохранила до конца дней тягу к литературному труду. Во всяком случае она в одном из писем к отцу вспоминает тот знаменательный 1922 год, «когда мы с Бабелем рылись в „Тысяче и одной ночи“ на французском языке» для переложения книги в пьесу. В «Броске на юг» завуалированно фигурирует и семья Нелидовой. Вдумчивый, дотошный читатель заметит в дневниках Паустовского – они приведены сразу после настоящего послесловия – «сухумские» записи: «Апполинария Фроловна, бабушка, котенок, Трезор – особый милый быт...» и «Нелидова с няней... Вечером на пристани. Апполинария Фроловна». Для писателя нет мелочей, ничто не проходит для него бесследно, и вот появляется в повести фраза некоего Котникова (ему мадемуазель Жалю сдала комнату Константина): «Всё в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму...» Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе у мамы моей, уважаемой Апполинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек...» А сам Котников списан, видимо, с мужа Нюры (знакомой отца, которая в Москве была в Паустовского влюблена. В Сухум-Кале произошла тогда, в 1922 году, их «неожиданная встреча»), с коммерсанта, который вместо «ы» говорит «и». Встреча оставила негативный отпечаток, во всяком случае в дневнике читаем: «Опустилась... Мы с Кролом все же сохранили себя за эти годы». Но я увлекся и несколько забежал вперед...

Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахло душистым теплом.

Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пудра). Я не заметил и ее волос, – они были спрятаны под черной косынкой.

Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.

Дело в том, что у себя в кладовой отец-келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней – это, конечно, была Нелидова – я объяснил быстрым действием этого вина.

На стук упавшей и покотившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.

– Вот! – сказал он с торжеством. – Я так и знал, что вы разобьете...

Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.

– Апофеоз женщины! – неожиданно сказал Бабель. – Пошлое слово – «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очамчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая русская Афродита. А мы с вами – глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации – встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.

– Бред! – сказал я Бабелю, – Вы же еще не пили маджарки.

– Конечно, бред! – ответил он и распахнул окно, – Идите-ка лучше сюда!

С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.

И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.

«Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? – подумал я. – За жизнь?»

Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже, наверное, не так гладко, но я мог подумать и так.

Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый человек на всем свете.

С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий же день шел в Сухум моторный дубок «Лев Толстой», и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.

Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладевыми картинами из Ветхого и Нового Завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.

Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.

Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал:

– Вот что делает маджарка, молодой человек. Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.



## Средство от малярии

За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей, газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трех коротких заметках.

Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном.

Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло укусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти.

После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку.

Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью.

Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины.

Бывало, я стонал ночью, пытаюсь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадемуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали.

Мадемуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн.

Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но года три назад, роюсь в старых рукописях, я нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе.

На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца.

Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но, в общем, она давала какое-то представление о сне.

Вот эти записи: «Поиски человека... маленькой девочки, должно быть, дочери... Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезала в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь.

Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекачивалась канонада. Но никто не обращал на это внимания.

Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там в палисадниках в пустом свете фонарей росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела. Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые рощи. Но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете?

Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую слабую шею с выступающим маленьким позвонком.

В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался весь в испарине.

Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте.

Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя.

Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лелю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лели. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.

«Кто смел, – думал я, – так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!» Сознание своего превосходства над природой доставляло мне странную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека.

Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.

Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, «Порубка» Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская «Дама с собачкой». Никогда не умрет ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовской над телом умершего князя Андрея.

Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас.

Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на обличье жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту.

По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны.

Я перестал ходить в Абсоюз; лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения – то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним – угрюмый молодой человек, стриженный ежиком.

Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начинал привыкать.

– Малярный делириум, бред, – скучно сказал молодой человек с ежиком. – Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!

Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач – фамилия его был Самойлин – влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет.

Малярная начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга.

Однажды доктор Самойлин сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы<sup>4</sup>, к Главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки.

Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком.

Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому.

Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей.

Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и, другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух.

Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему маломальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета.

Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы (может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза). Они испускали дурманный запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи.

Самойлин начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриетты Францевны.

Генриетта Францевна одевалась несколько странно – слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка.

Однажды Самойлин привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка по фамилии Запаренный – мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Запаренного было редчайшее достоинство – он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке.

Борец согласился идти с нами к Главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут: через селения Мерхеулы и Цебельду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш на горное озеро Амтхел-Азанда у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.

Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный, неторопливый поход.

Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа – Аконкагуа – в этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека.

Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался,

---

<sup>4</sup> Видимо, фамилия доктора появилась от слегка переименованной фамилии Самойленко. Во всяком случае постановка оперы, о которой я только что говорил, была осуществлена Г. А. Бочарниковой совместно с В. С. Самойленко – женой нашего доктора. Самойленки вместе с Нелидовой и Германом-Евтушенко провожали чету Паустовских в сухумском порту перед их отплытием в Батум.

что это действительно так и что до тех пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты.

Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста.

Может быть, сотни, а вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий.

В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Тогда я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне.

В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки.

Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе.

Да, в то утро ухода из Сухума я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну.

Воздух в саду был холоден, как стекло. И, как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра.

Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи – все это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным.

Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня.

## Озеро Амтхел-Азанда

Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз.

Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился и никто из нас его, должно быть, сразу, и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не всегда уверен.

Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде от брошенного камня.

Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда.

Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, – одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь.

Сначала мы шли по берегу горной речки Келасуры. Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше.

За селением Мерхеулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий часток кол кукурузы.

Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось, над самыми метелками кукурузы, в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там вдали чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами.

Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти.

Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи. Но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попало под руку.

Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло закрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым.

Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов.

Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первыми цветами крукосов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море.

Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.

Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно, не стесняясь, поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек.

К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне.

Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей.

Так я думал, лежа на берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая река), предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше.

Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок – то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень: о нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется александритом.

С трудом мы добрались до крайнего дома в селении Цебельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов.

Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба.

Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в залиvistый вой.

К террасе подошел сторож – старый абхазец с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня:

– Чего люди горячатся? С утра до вечера? Не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь – неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах!

Я подивился на такое странное собачье имя и спросил:

– Есть у тебя кто-нибудь? Или нет?

– Нету. Была жена, была дочь. Красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе! Я старик, видишь? – Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. – На Марух пойдешь? – спросил он равнодушно. – Горячишься? Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?

– Чего ты тут сторожишь?

– Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят – я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь, – от того шума и до этого.

Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды.

– Водопады, – сказал сторож и встал. – Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый бог, вспыльчивый. А зачем сердится? Мы работаем, слушаемся его, а он то найдет войну, то – болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает! Горячится! Несправедливо поступает.

Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох.

Я уже не мог уснуть.

Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет.

Ледяные главы Большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг.

Станным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного кар-

тона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском.

Станным – вот таким, как я его описываю, – это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул.

Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре.

В Цебельде у Задаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению.

Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цебельде не только терраса, где мы ночевали, не многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости.

Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом.

Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди.

Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера.

Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью.

Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сжевали ворс до самой основы.

Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хребтов.

На скатерти покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду – из старых журналов и газет, иногда даже из книг – самые интересные картинки и клеил их в альбом.

Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких «августейших особ», особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но, в общем, это не имело никакого значения.

Ах, этот крейсер «Аверов»! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений! Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развевались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг.

«Аверов» – гроза морей – гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расхोdivшихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях.

Я несколько раз уже писал об «Аверове». Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер, как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников.

Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий «дядя Сэм» с козлиной бородкой, в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на животе, унылый, носастый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка во фригийском колпаке – Франция.

Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин пахнет пленками.

Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц – томных, волооких, сидящих, заложив ногу на ногу, на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках.

Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытый пачкой газет. Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдец с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами.

В одной из астрономических книг, кажется, у Джинса, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы – только жалкая плесень.

И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, вознесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой, заспанной женой, с его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный всего в десять раз, может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел.

За обедом фельдшер – его звали Яни – сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда. Говорил он, как старомодный оратор, – с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса, или, как выразился борец, «играл на сердечной струне».

– О Александер! – восклицал Яни. – В Сухуме расцветают лавры! Они не дают тебе спать. Ты жаждешь открытий! Славы! Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства – милой жены Маргариты и сына Пахома?

– Ты лучше покажи дорогу на Амтхел! – сердито ответил борец.

– Про Маргариту я и без тебя знаю.

Фельдшер с грустью покачал головой.

– Вот именно! – сказал он с укором, – Я сам, своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!

– А что же там опасного? – спросил Самойлин.

– Там могут быть дезертиры, – зловещим голосом ответил фельдшер. – Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам.

Фельдшер повернулся к борцу.

– Я предупредил тебя! Я умываю руки! Ты слышишь меня?

– Ну, умывай, умывай, – добродушно согласился борец. – Не устраивай здесь Художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы.

Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цебельды, к буковому лесу, и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях.

Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, – некий мшистый и прохладный форум по склонам гор.

Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас, – немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады, а может быть, это было эхо от раскатыстых лавин,

Зарубки привели нас в узкое ущелье Гаргемыш.

Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем, он не сказал, но мы поняли, что он думает о сванах.

Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучах бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлин, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за триста шагов даже муху, сидящую на стебельке травы.



Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в двухстах прямо от нас.

Они подымались навстречу и ступали осторожно, как рыси. Ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было четверо. У каждого на плече висел обрез. Только шедший впереди пожилой человек держал винтовку в руках.

– Спокойно! – тихо сказал борец. – Идите как на прогулке по набережной.

Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась, очевидно, деланная и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожало правое веко.

Передний остановился, снял винтовку и поднял ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела, как закрытый шлагбаум.

Мы остановились. Остановились и дезертиры, но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем.

Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клекот, голосом:

– Чего русскому человеку здесь надо?

– Мы идем на Амтхел-Азанда, – ответил борец. Он достал пачку папирос и предложил вожаку. Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил:

– Зачем на Амтхел?

– Охотиться, – невозмутимо ответил борец.

– Ай-ай-ай! – Вожак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. – Зачем обманываешь, неправду говоришь? А где же ваши ружья, охотники?

– Ну, вот и все! – тихо сказал мне доктор Самойлин. Никакого оружия у нас не было. Вообще в Сухуме можно было бы добыть в то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее.

Борец усмехнулся и что-то сказал вожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца, потом – на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу.

– Он предлагает, – сказал нам равнодушным голосом борец, – сесть на этот поваленный бук и покурить.

Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел борец.

Я спросил вожака, где он так хорошо научился говорить по-русски.

– На войне... В Дикой дивизии...

Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на моих чувыках.

Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос и переложил ее себе в карман.

Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения и осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман.

Ему было трудно снимать кольцо одной рукой. Потому на это время он дал мне подержать обрез.

Все молчали. Потом дезертиры заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть разыскивая спрятанное под одеждой оружие. Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас.

Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у Самойлина – старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули. Только один лениво ткнул в них ногой, очевидно

для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что, казалось, вот-вот начнется резня.

Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем.

Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками.

Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывал грудь и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаясь кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу:

– Иди куда хочешь, но назад не вернешься! – Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним.

Мы стояли в недоумении.

– Что это значит? – спросил Самойлин.

– Это значит, – ответил борец, – что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету.

Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас.

– Лучше ни о чем не думать, – посоветовал борец. – Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрела в спину.

Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.

Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно: и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах.

Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.

Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.

Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.

Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.

Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его, как мишень.

Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что «хлопцы» были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.

Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика – милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот

день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.

И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что пять бандитов неизвестно почему хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы.

Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы – какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озеро.

Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел (как любили писать в старину) на смятенную человеческую душу.

Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.

Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде, «все вдруг», а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем.

У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.

Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издали. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть – там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стопа в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.

В одном месте, очевидно из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.

То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду: каждую ветку и каждый клочок бумаги.

Борец рассказал, что за двенадцать километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенным потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.

Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.

Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыпании альпийских лугов.

Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишайники на скалах, медленное передвижение теней – они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.

Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя – Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.

Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был замечен даже на луне.

– Теперь, – сказал мне Зацаренный, – живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.

Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.

Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя по существу никаких событий не было. Но все-таки...

Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.

Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.

На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.

В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.

Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров.

В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.

В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крикнув, вырвала у меня из рук кусок хлеба. Я отнял у неё хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.

Тотчас с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганых курочек.

С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.

Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду.

Это нам нравилось.

– Должно быть, – глубокомысленно сказал Задаренный, – так свободно вели себя звери только в раю.

С тех пор как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.

Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги – шакалы и маленькие горные медведи.

Самыми наглыми и изобретательными были шакалы.

В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили. Чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро.

Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу. Иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы Задаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищурив глаза.

– Какой воздух! – говорил он и шумно вздыхал. – Не воздух, а бальзам Тоно-Бэнге!

На вторую ночь шакалы подползли к нам «по-пластунски» и пытались вытащить из-под головы у Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасает нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра.

В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой.

Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил

шест рядом с собой. Задаренный и Самойлин уснули. Я тоже притворился спящим. Я даже слегка всхрапывал.

В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. «Ах, как интересно!» – скажете вы. Но я утверждаю, как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь и интересно, но главным образом противно и даже страшно.

Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки.

Я осторожно засунул конец шеста в огонь. Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать.

Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена.

Я ждал, пока вожак подползет к костру (около него лежала в виде приманки колбаса) на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака.

Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова: «Уй, черт!»

Потом он прыгнул, но не вперед, а назад и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру.

Задаренный и Самойлин проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов.

Шакалы взобрались на соседние скалы и все как один завывали с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и были двое суток.

Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде, и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности.

С утра медведи залегали вверху, по краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами.

Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу по берегу мимо медведей, они спускали на него камень и вызвали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая, большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом.

Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Свист и ругань на них не действовали.

Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры.

Иногда Задаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал.

Но, наконец, судьба отомстила за нас. Маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, с сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга.

Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим, человеческим козням.

У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.

В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко.

Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет.

Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко – на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а, может быть, вернее – кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.

Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.

Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.

Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель – пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, кал паутину.

Это было удивительное занятие – ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, – от узора трещин на плоском камне до поплавок из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клева листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.

Я удил до вечера. На камнях меня заставлял закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавок и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обагрённых кровью.

Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сторающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха.

Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.

Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле – разлив такого цветового блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.

Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах.

А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.

На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда.

Борец был уверен, что около Цебельды мы снова наткнемся на дезертиров и на этот раз встреча нам не пройдем даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш.

Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.

Эти двенадцать километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертymi ногами, но счастливые.

В Сухуме было сонно, душно и одиноко.

Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белокрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.

Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушчат, непрерывно мигал красноватыми альбиносскими глазками с белыми ресницами и любил петь песню: «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял». Пел он тонким, свистящим тенорком.

В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтоб он в манишке щеголял, в руке тросточку держал».

На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало – ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе, у мамы моей, уважаемой Аполлинии Фроловны, был заведен зверский порядочек...»

С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать».

Потом приехала из России жена Котникова – точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:

– Почему тут у вас яйца?

Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.

Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка», Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто-франко» и город завален «шикарными товарами» – сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, – писала Люсьена, – можно жевать подвязки».

Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.

А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.

Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.

Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флага, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).

Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз – томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и крошечных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила – и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.

Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.

А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.

Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.

Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город – живописная толча башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.

Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:

– Красивые, вперед!

В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.

И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых – юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.

Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» – и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого «сазандари» – самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.



## В плоском порту

Ночью я проснулся. «Ильич» стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, – так низко они горели.

Я забыл, что по пути в Батум «Ильич» должен был зайти в промежуточный порт Потти.

Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Потти было далеко.

С неба редко падали капли дождя – теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах.

Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся.

Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь.

Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете.

Но жизнь не по моей вине (вина, очевидно, была, но я ее не понимал) складывалась так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей – все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного – родственных, любимых и любящих людей.

Была мама, Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах.

Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.